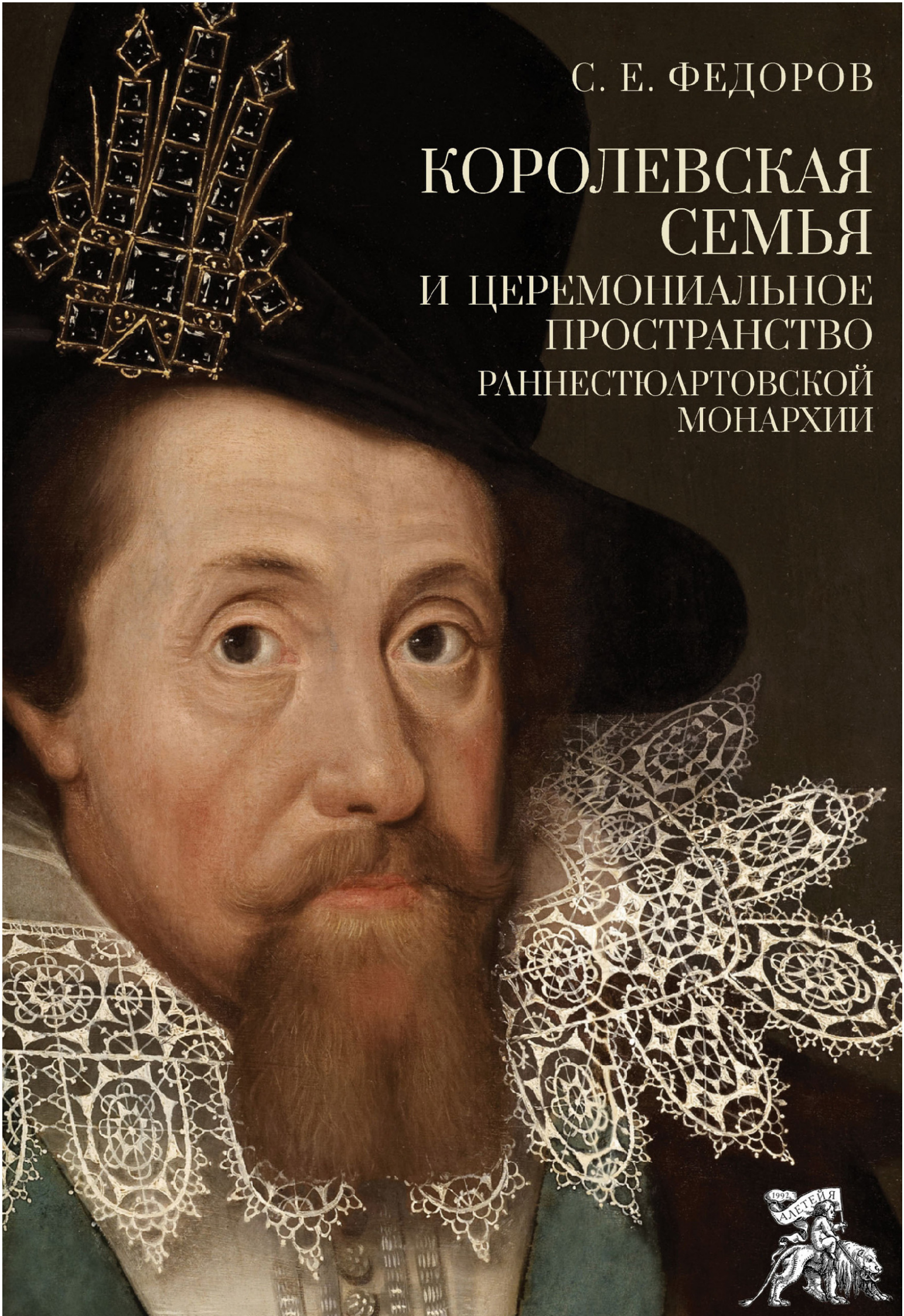


С. Е. ФЕДОРОВ

КОРОЛЕВСКАЯ
СЕМЬЯ
И ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
РАННЕСТЮАРТОВСКОЙ
МОНАРХИИ



Сергей Федоров

**Королевская семья и
церемониальное пространство
раннестюартовской монархии**

«Алетейя»

2018

УДК 94(410).06
ББК 63.3(4Вел)51

Федоров С. Е.

Королевская семья и церемониальное пространство
раннестюартовской монархии / С. Е. Федоров — «Алетейя»,
2018

ISBN 978-5-907030-68-8

Издание рассматривает церемониальное пространство английского королевского двора при Якове I в контексте династического строительства первых Стюартов и становления композитарной монархии. Анализ структуры церемониального взаимодействия между членами королевского семейства рассматривается как ключ к пониманию фундаментальных принципов организации власти в Англии раннего Нового времени. Издание ориентировано на историков, социологов и широкий круг читателей, интересующихся историей Англии.

УДК 94(410).06
ББК 63.3(4Вел)51

ISBN 978-5-907030-68-8

© Федоров С. Е., 2018
© Алетейя, 2018

Содержание

Двор династии Стюартов: взгляд из Петербурга	6
«Restored to the whole Empire & name of great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах[11]	12
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Федоров

Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор *Т. Л. Лабутина*

кандидат исторических наук, доцент *Е. А. Терентьева*

© С. Е. Федоров, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018



Двор династии Стюартов: взгляд из Петербурга

Феномен королевского двора – не уникальное, но исключительное по яркости и смысловой содержательности и репрезентативности явление, ставшее открытием для научного сообщества и исторической науки в середине и второй половине XX столетия. Будучи особо значимой темой в условиях монархической формы политической организации социума, на этапе убедительной победы республиканизма двор был забыт как объект научного изучения и интереса в Европе XIX – начала XX века, став неактуальной и даже «запретной» темой в условиях «официального» марксизма в отечественной медиевистике. Потребовались значительные усилия научного сообщества по оформлению новой философии истории и обновлению исторического знания, которые сломали эту традицию, изменив оценки фактора сознания в историческом процессе и обеспечив более гибкое понимание соотношения объективного и субъективного начал в последнем. Это позволило увидеть и оценить исключительные эвристические возможности королевского двора как объекта исследования, значительно обогатив и углубив не только картину средневековой истории, но понимание таких вневременных явлений, как феномен политической власти, формы властвования в контексте социологического анализа, его роль в оформлении института государственности, и, более того, выход темы за рамки только политической истории в разнообразный и креативный характер исторического процесса в целом. В их ряду такая проблема как придворная «матрица» средневековой государственности в виде *seigneurie banale*, ставшей королевской курией и далее – политическим центром социума, с последующей исключительной ролью в институционализации и усложнении государственного строительства; любопытная переключка организационной структуры двора и государственного механизма в процессе трансформации патримониальной природы политической организации социума в публично-правовое государство. Двор конституировал социальную реальность, позволяя понять формирование социальной базы власти, в частности значимость личностного компонента в качестве средства властвования. И, наконец, казалось бы, существует совершенно неожиданный извод темы двора как культурно-исторического феномена. В этом последнем случае содержательное наполнение процедур репрезентации власти, организатором которых выступил двор, оказывались не только знаком причудливого симбиоза символических и секуляризированных форм средневекового сознания, но средствами властвования, которые решали двойную задачу – демонстрации великолепия, недостижимости и вечности власти с одной стороны, и с другой – готовности власти (весьма условную) к диалогу с обществом.

Российские медиевисты включились в процесс придворных исследований сравнительно недавно. Перспективы, которые открывались для российских историков в сфере изучения потестарных отношений и структур, этими отношениями формируемых, впервые были освещены в работе «Достижения, потери и перспективы отечественной медиевистики»¹, вышедшей в свет в 1995 году. Статья стала своего рода манифестом рабочей группы «Власть и общество». Целью группы, которая плодотворно работает и сегодня, было не только догнать главного конкурента – сильно опережавшие российскую медиевистику западноевропейские потестарные исследования, но и перенести на изучение властных – в том числе и придворных штудий ту научную стилистику, которая является характерной для традиций советской и российской исторической школы в целом. Речь идет, прежде всего, о стремлении к постановке фундаментальных проблем и обобщений, которые в перспективе позволяют реконструировать законо-

¹ Хачатурян Н. А. Достижения, потери и перспективы отечественной медиевистики (по материалам направления политической истории западноевропейского Средневековья) // Бюллетень Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени. 1995. № 6. С. 5–10.

мерности экономического, социального и культурного развития; словом, об элементе метафизики в отечественной науке.

В составе группы «Власть и общество», призванной объединить ученых из разных регионов России, тем не менее, ведущими были и остаются московская и петербургская школы медиевистов. Благодаря публикациям С. Е. Федорова петербургской школе, базирующейся на кафедре истории Средних веков Института истории СПбГУ, удалось перехватить у москвичей пальму хронологического первенства: в 1996 году две статьи («Альтернативный» двор в раннестюартовской Англии: принц Уэльский и его окружение в 1605–1612 гг.»² и «Бытовое поведение стюартовской аристократии»³) стали первыми в российской медиевистике работами, разработавшими конкретные сюжеты функционирования придворного общества. В 1997 году в коллективной монографии «Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество»⁴ придворные рассматривались как социопрофессиональная группа, становление которой было во многом аналогично становлению социопрофессиональных сообществ юристов, врачей, духовенства и т. д. Невозможно не отметить и тот факт, что петербургские придворные исследования с самого момента своего зарождения сохраняют яркий и устойчивый английский акцент, в то время как медиевисты столицы более охотно обращаются к истории континентальных (французского, бургундского, имперского) дворов.

В 2001 году публикация коллективной монографии «Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда»⁵ обозначила первые промежуточные итоги работы петербургских, московских и региональных «двористов» и выявила впечатляюще широкий круг сюжетов, которые отечественные ученые успели освоить за неполные пять лет. Исследованиям по истории европейских дворов отведено значительное место и в коллективных монографиях, публиковавшихся по результатам конференций группы «Власть и общество», в 2004⁶, 2006⁷, 2008⁸ годах. Помимо совместной работы с МГУ и ИВИ РАН петербургские медиевисты плодотворно занимались строительством собственной «придворной» школы. Ряд парных докладов докладов С. Е. Федорова и А. Ю. Прокопьева о церемониале жизненного цикла английских монархов и немецких князей на кафедре истории Средних веков СПбГУ, конференция петербургских историков «Нобилитет в истории старой Европы»⁹, по результатам которой в 2010 году был издан сборник статей – все это стимулировало развитие среди петербуржцев интереса к освоению новых горизонтов в микрокосме королевского двора. Наконец, публикация монографии «Королевский двор в Англии XV–XVII веков»¹⁰ в 2011 году стала неоспоримым свидетельством того, что под руководством С. Е. Федорова в Санкт-Петербурге выросла полноценная школа исследователей английского двора; интересы ее участников распространяются не только на двор первых Стюартов, но на более широкий хронологический отрезок: от двора поздних Ланкастеров в XV столетии вплоть до начала Великого Мятажа. Под науч-

² Федоров С. Е. Альтернативный» двор в раннестюартовской Англии: принц Уэльский и его окружение в 1605–1612 гг. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 1996. № 1. С. 89–99.

³ Федоров С. Е. Бытовое поведение стюартовской аристократии // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1996. № 10. С. 130.

⁴ Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество / С. Е. Федоров, С. В. Кондратьев, Г. Н. Питулько; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб.: Образование, 1997.

⁵ Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. СПб.: Алетейя, 2001.

⁶ Королевский двор в политической культуре средневековой Европы: Теория. Символика. Церемониал / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2004.

⁷ Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2006.

⁸ Власть, общество, индивид в Средние века и раннее Новое время / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2008.

⁹ Нобилитет в истории старой Европы / под ред. С. Е. Федорова и А. Ю. Прокопьева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2010.

¹⁰ Королевский двор в Англии XV–XVII веков / под ред. С. Е. Федорова. Труды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Том 7. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011.

ным руководством С. Е. Федорова было защищено восемь кандидатских диссертаций на придворную тематику: это диссертации В. С. Ковина «Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603–1625 гг.» (СПб., 1999); Н. А. Журавель «Граф Лестер и католическая оппозиция при Елизавете I Тюдор» (СПб., 2000); М. А. Буланаковой «Знатная женщина и стюартовское общество в Англии XVII в.» (СПб., 2002); Е. И. Эциной «Идейно-политические основы раннестюартовской монархии» (СПб., 2006); В. А. Ковалева «Королевский церемониал ранних Стюартов» (СПб., 2006); С. В. Бурова «Королевский двор и политическая борьба в Англии во второй половине двадцатых – тридцатых годов XVII века» (СПб., 2009); И. Г. Моиссева «Орден Подвязки в конце XVI – начале XVII века». (СПб., 2011); Е. А. Бакалдиной «Английский королевский двор при Эдуарде IV. Институты, слуги, церемониал» (СПб., 2011). Самое молодое поколение «двористов» представляет С. С. Меднис, которая успешно изучает коронный церемониал Елизаветы Тюдор.

Настоящее издание было инициировано и подготовлено группой учеников С. Е. Федорова – аспирантами Института истории СПбГУ К. В. Перепечкиным, Ф. Е. Левиным, к. и. н. Б. И. Ключко, д. и. н. А. А. Паламарчук и магистрантом Института истории Е. Г. Тишуниним. Хотя в этом году С. Е. Федорову исполнилось 55 лет, издание не планировалось в качестве юбилейного. В статьях разных лет, охватывающих более чем двадцатилетний период и впервые собранных под одной обложкой, мы старались, с одной стороны, отразить различные этапы становления ученого, с другой – продемонстрировать разнообразие подходов к осмыслению придворной тематики. Эта книга является также благодарностью за многолетнее научное руководство и человеческое наставничество.

Многоплановость исследований вообще является характерной особенностью авторского научного почерка Сергея Егоровича. На первом этапе изучение придворной темы в ее конкретных измерениях проходило под влиянием тех методов, которые были предложены его оксфордским наставником проф. Дж. Эйлмером. Речь шла о рассмотрении раннестюартовского придворного общества как зеркала более общих социальных трансформаций, зеркала эпохи, в которой социально значимые приоритеты, ценности и структуры в конечном счете определяли вектор изменения механизмов государственного управления. В преимущественно социальном ключе чуть позднее была осмыслена и проблематика гендерного (феномен «мужского» и «женского» двора, взаимоотношения между супругами как условно «политический» фактор и т. д.): частное пространство семьи первых двух Стюартов оказывалось тем измерением, в котором наиболее эффективно разрешились в том числе и политические проблемы, стоящие перед верховной властью. Ученики С. Е. Федорова прекрасно помнят, какой огромный интерес вызвало обсуждение на «Тюдоро-стюартовском семинаре» методологии дискурс-анализа, в самом начале XXI столетия еще достаточно мало известного для отечественного научного сообщества. Изучение антикварного дискурса с использованием богатейшего лексикографического материала эпохи ранних Стюартов позволило рассматривать двор и придворное общество не только как место диалога между властью и элитами, но как место формирования специфического языка власти, как литературного, так и изобразительного. Наконец, оригинальным этапом в творчестве С. Е. Федорова стало рассмотрение придворной тематики в контексте становления композитарной монархии.

Формирование устойчивой и постоянно пополняющей свои ряды группы петербургских двористов-англоведов стало возможным не только благодаря очевидной притягательности и востребованности «придворных» сюжетов, но и благодаря той черте, которую неизменно отмечают ученики С. Е. Федорова – исследовательской щедрости их научного руководителя. Открытие нового комплекса источников, новаторского подхода или неожиданной темы легко может заронить в душу ученого искушение навечно закрепить ее за собой и остаться бессменным монополистом. Сергей Егорович в этом отношении остается человеком, который щедро делится с учениками всех возрастов своими открытиями и, постоянно открывая новое для

себя, немедленно вовлекает младших коллег в освоение все более заманчивых перспектив. Вне всякого сомнения, самые интересные методологические находки у С. Е. Федорова и его учеников впереди, а созданная им школа будет и далее плодотворно сохранять баланс между самыми актуальными новациями Запада и традициями российской медиевистики.







«Restored to the whole Empire & name of great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах¹¹

Формирование раннестюартовской композитарной монархии¹² стало результатом длительных процессов, характеризовавших историю Британских островов на протяжении почти тысячелетия. Берущее свои истоки в политических коллизиях англо-саксонских королевств, периоде правления Нормандской династии, имперских амбициях XIII–XV столетий¹³, с одной стороны, и затяжном англо-шотландском противостоянии – с другой, составное британское государство обретает свои окончательные границы с воцарением Стюартов. Именно тогда неотъемлемой частью британского государства становится Шотландия, территориальное соперничество двух соседствующих композитарных монархий теряет былой смысл, а некогда непримиримые имперские притязания унифицируются. Складывается тот тип государственного объединения, о котором мечтала еще тюдоровская пропаганда¹⁴. Раннестюартовская композитарная монархия¹⁵ была, таким образом, прямым воплощением популярной со времен Генриха VIII гальфридианской идеи, а ее территориально-административное устройство напрямую реализовывало контуры восходящего к XII столетию мифа¹⁶.

* * *

Материализация гальфридианской идеи определялась, с одной стороны, вполне объяснимой коллизией между имперским и монархическим концептами в осознании процессов государственного строительства. С другой – очевидной ограниченностью инструментальной базы

¹¹ Оригинальная публикация: Федоров С. Е. «Restored to the Whole Empire & Name of Great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / отв. ред. и сост. Н. А. Хачатурян. М., 2011. С. 202–225.

¹² О понятии «композит» и «композитарная монархия» см.: *Elliott J. A Europe of Composite Monarchies // Past & Present*. 1992. № 137. P. 48–71.

¹³ *Maden A. 1066, 1776 and All That: The Relevance of English Medieval Experience of «Empire» to Later Imperial Constitutional Issues // Perspectives of Empire: Essays Presented to Gerald S. Graham / ed. by J. Flint, G. Williams. London, 1973. P. 9–26.*

¹⁴ Известно, что сначала Генрих VIII, а затем и лорд-протектор Сомерсет усматривали в подчинении Шотландии основу усиления английских позиций на британских островах и залог успешного распространения протестантизма. При этом Сомерсет настаивал на том, что подобные усилия не приведут к созданию новой монархии на островах, но всего лишь восстановят в прежних пределах древнюю – называвшуюся некогда «Великой Британией» монархию. Сторонники Сомерсета в англо-шотландских войнах 1543–1546 и 1547–1550 годов усматривали истоки британской (имперской) идеи в раннем Средневековье, причем в том его виде, в каком этот период британской истории был изложен Гальфридом Монмутским (*Head D. Henry VIII's Scottish Policy: A Reassessment // Scottish Historical Review*. 1982. Vol. 61. P. 2; *Marriman M. War and Propaganda during the «Rough Wooing» // Scottish Tradition*. 1979–1980. Vol. 9-10. P. 20–30; *Mason R. The Scottish Reformation and the Origins of Anglo-British Imperialism // Scots and Britons: Scottish Political Thought and the Union of 1603 / ed. by R. Mason. Cambridge, 1994. P. 168–178.*

¹⁵ *Russell C. The Fall of the British Monarchies, 1637–1642. Oxford, 1991; The New British History: Founding a Modern State, 1603–1715 / ed. by G. Burgess. London, 1999.*

¹⁶ Согласно его версии, созданная тогда империя была собственно «британской», поскольку ее основателем был Брут, и эта же империя превращается в подобие композитарной монархии после его смерти, оставаясь разделенной между его тремя сыновьями. Старший из них – Локрин, управляя Англией достиг невероятных успехов, при этом его младшие братья Альбанакт и Камбер, получившие по наследству Шотландию и Ирландию соответственно, признавая его достижения, принесли ему оммаж и тем самым признали главенство английского трона. Идея превосходства, подпитанная идеей старшинства, определила таким образом дальнейшую перспективу уже пост-брутской композитарной монархии. Более подробно об этом: *Mason R. Scotchng the Brute: Politics, History and National Myth in Sixteenth-Century Britain // Scotland and England, 1286–1815. Edinburgh, 1987. P. 113–138.*

тех интеллектуальных групп, которые, как представляется, были нацелены на преодоление этой коллизии.

Несмотря на то, что уже Фома Аквинский воспринимал понятие «*regnum*» как синоним справедливого единоличного правления, идущая от него традиция предпочитала подчеркивать, что для любого легитимного монархического строя важнейшим, если не единственным, принципом остается не столько сама организация верховной власти, сколько ее пространственная «протяженность» или «экстенсивность» власти. При этом в толковании основного смысла «*imperium*» хотя и присутствовали пространственно-географические элементы, на первый план выдвигались идеи, подчеркивавшие его статус, как особого достоинства, трансформируемого не столько на межличностном, сколько на трансперсональном уровне. В этом смысле доминировало представление об отсутствовавшей в первом варианте своеобразной «интенсивности» верховной власти.

Трансперсональный характер основного значения «*imperium*» сочетался, как правило, с определенной миссией, которой наделенный таким особым достоинством народ облачал, помимо прочих обязанностей, своих государей. Так имперское достоинство, изменяя в очередной раз своего носителя, персонифицировалось. В подобных трансформациях различались две фазы, означавшие фактическую и правовую (юридическую) стадии такого процесса, но только вариант *de jure* считался полноценным.

Реализация особой миссии предполагала экспансионистский элемент во внешней политике такого политического образования. При этом степень самой экспансии оправдывалась характером такой миссии и зависела от восприятия этнополитической, религиозной и культурной специфики ее объекта. Осваиваемые территории, расширяя исходные границы такого государства, видоизменяли пространственную «протяженность» верховной власти правителя.

Особое достоинство, которым наделялся опять-таки особый народ, предполагало наличие других, менее исключительных по своим качествам и отличающихся между собой народов. Степень этнополитических, религиозных и культурных различий обуславливала формы их ассимиляции в рамках расширяющегося государства. В том варианте, когда новые земли и народы, включаясь в состав такого политического образования, теряли свою территориальную самостоятельность, «протяженность» верховной власти завоевателя расширялась. Когда же граница между основной и приобретаемой таким образом территорией оставалась неподвижной, очевидно, происходила «интенсификация» верховной власти, усиливавшая в очередной раз исходное исключительное достоинство завоевателей.

Переплетение имперского и монархического концептов в обосновании политических процессов, протекавших на Британских островах и в Западной Европе – в целом, обуславливало отсутствие, в конечном счете, четкого разграничения между тем, чем следовало руководствоваться при определении этих двух форм политических образований. Попытки некоторых исследователей увидеть в теоретических конструкциях авторов XIV–XVII веков подобие современного представления, разграничивающего два элемента политической системы – форму правления (монархия) и форму государственного устройства (империя) – вряд ли могут оказаться оправданными. Хотя стремление разделять сумму определений, обозначавших «интенсивность» верховной власти и ее «протяженность», несомненно, приближали европейскую мысль этого времени к открытию их современных значений.

Ограниченность инструментальной базы подобных построений определялась не только отсутствием оригинальных решений, сближающим тем самым аргументацию позднесредневековых авторов с античной (греко-римской), но и отношением к самому предмету полемики. Речь идет о том, что в подавляющем всякую вариативность рассуждений контексте политическая организация средневековых обществ по-прежнему отождествлялась современниками со спецификой организации верховной власти. При этом позднесредневековых интеллектуалов, не выделявших еще собственно институциональной природы любого типа политических обра-

зований, прежде всего, интересовали этические, а затем правовые аспекты функционирования властных отношений. В этом смысле предметом многочисленных спекуляций оказывались персонифицированные в личности правителя добродетели (позитивный аспект полемики) и недостатки (негативный аспект полемики), а также рассуждения вокруг легитимности самого правления.

Этическая природа верховной власти подразумевала наличие или отсутствие трансформированных христианством, но уже известных греко-римской культуре добродетелей и достоинств. Легитимность правления напрямую увязывалась либо с античной политической традицией, либо с ее уже средневековыми преемниками; определенное значение сохраняли сугубо династические связи. Используемые доказательства как этического, так и правового характера в своих исходных значениях, повторяя Цицероновские, а позднее – аристотелевские формулы и определения, оказывались насквозь имперскими.

Вплоть до появления знаменитых сочинений Данте («О монархии» и «Пир») интеллектуальные ресурсы имперской тематики, оставаясь первичными, превосходили потенциал монархической полемики. Под влиянием идей Данте монархический дискурс постепенно начинает осваивать систему доказательств имперской полемики, а их значение в политических дискуссиях XIV–XVII веков сначала медленно выравнивается, а затем наблюдается повторная, но отличная от позднесредневековой дифференциация каждого из понятий.

На этапе сближения двух полемических дискурсов происходит своеобразный обмен базовыми концептами. Имперский дискурс, сохраняя свои исходные контуры, активно впитывает в себе характерную для монархического дискурса идею «протяженности» верховной власти¹⁷, а монархическая тематика осваивает «интенсифицирующие» королевскую власть компоненты. На этом фоне возникают, как представляется, два взаимосвязанных феномена.

С одной стороны, постепенно оформляются представления о существовании оснований для возрождения своеобразного политического гегемона – всемирной светской монархии, претендующей на исключительный статус и миссию не только в известном к тому времени «круге земель», но и на вновь открываемых территориях¹⁸. Право на «мировое» господство начинают последовательно оспаривать сначала Священная империя (очень непродолжительный период при Карле V), затем испанская (при Филиппе II и его преемниках) и только потом – французская монархии (наиболее последовательно при Людовике XIV). С другой стороны – окончательно укореняются идеи о существовании иного рода самодостаточных политических образований, главы которых в пределах собственных территорий по определению обладают достаточными основаниями для реализации властных полномочий.

Формирующееся таким образом противостояние универсалистских и – условно – партикуляристских тенденций в политическом развитии западноевропейских государств начинает оказывать стимулирующее воздействие на процесс оформления правовой базы, сначала ограничивающей, а затем и регулирующей внешнюю политику династий в пределах известных к тому времени морских путей. Впоследствии международное морское право закладывает основы для постепенно расширяющегося представления о границах географического пространства, в пределах которого реализуется вся полнота верховной власти того или иного суверена.

¹⁷ «Quis enim rex, quis princeps qui praeter sanguinis cognationem atque necessitudinem non multis nominibus si genus, si potentiam, si legitimam electionem et deorum et hominum consensum spectemus, et amicum et imperatorem regemque suum salutem. Itaque cum is Carolus iure sit monarcha, velint et eundem esse, agnoscere nec usquam quod sine gravi piaculo fieri non potest, a dei iudicio alio provocare» (*Sauromanus (Sauermann) Georgius. Hispaniae Consolatio*. Louvain, 1520 (репринт: Madrid, 1977). Sig. C2r); «Quando alegremente fue elegido para el regimiento de altissima e mayor prefectura del mundo que es la monarchia del imperio romana» (*Guiñerres de Torres Alvaro. El sumario de las mara villosas y espantables cosas que en el mundo han acontecido*. Toledo, 1524 (репринт: Madrid, 1954). P. 89).

¹⁸ *Bosbach F. The European Debate on Universal Monarchy // Theories of Empire, 1450–1800 / ed. by D. Armitage. Ashgate, 2001. P. 81–99.*

«Обновленные» пространства уже не совпадают ни с широко известными пределами «римского мира», на преемственность с которыми претендует универсалистский вариант монархии, ни с исторически известными границами отделившихся от него в свое время частей и провинций, континуитет с которыми оставался желательным для всех остальных монархий. Основанная на таких формах преемственности идентичность перестает быть достаточной. Во многих своих проявлениях она продолжает питать самосознание западноевропейских монархий XVI–XVII веков, но уже в совокупности с иными концептами.

* * *

Претензии¹⁹ на универсалистский статус верховной власти покоились на лишенном какого-либо мистифицирующего оттенка представлении о социальном теле²⁰, не только императивно распространяющем за своими исходными пределами определенный превосходящий все иные формы «гражданственности» тип политической культуры, но и воспринимающем «преображенные» таким образом территории в качестве государств-клиентел, объединенных между собой испанской монархией.

Уже в римском варианте «империи-монархии»²¹, к которому, прежде всего, апеллировали сторонники универсализма²², конституирующим такое социальное тело элементом было покоящееся в его исходных началах рациональное основание, организующее его корпоративную сущность, воплощаемую, как известно, в особой форме, близкой по своему значению с гражданским сообществом. Таким основанием считалось универсальное право. Созданное человеческим разумом на основании естественных законов, оно было, прежде всего, рукотворным человеческим правом.

Известно, что для римлян единственно возможный вариант гражданского корпоративного сосуществования был связан с определенными формами городской жизни. Только городская жизнь регулировалась законами, обязывающими людей к особому типу поведения, только она закладывала и постоянно поддерживала определенные формы гражданских достоинств и добродетелей, формируя возможный спектр духовно-физического превосходства человека над всеми иными особями. Очевидно, что избранная римлянами форма сосуществования была результатом их коллективной познавательно-созерцательной деятельности и по этой причине воплощала определенный тип человеческой мудрости – основание, давшее в свое время повод для Августина отнести именно римский вариант социального сообщества к разряду совершенного («perfecta communitas»). Такая мудрость – универсальное знание, соединенное в нормах гражданского права и «моноцентричной» политической культуры, оно, успешно распространяясь за его пределами, несло на себе важнейшую функцию, конституируя и укрепляя разрастающееся тело римской государственности.

Заложенное в этом сообществе стремление к распространению накопленных знаний во многом зависело от отношения к римскому опыту как универсальному источнику знаний. Уже у Полибия сам термин «orbis terrarum» используется для обозначения той части мирового пространства, в которой процветают знания. В этом своем исключительном качестве «римский мир» противопоставляется всем народам, живущим за его пределами. Насколько можно

¹⁹ Yates F. *Astrea: The Imperial theme in the Sixteenth Century*. London, 1977; Bosbach F. *Monarchia Universalis. Ein Politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit*. Hamburg, 1988.

²⁰ *Graphaeus Cornelius. Divi Caroli Caesaris Opt. Max. desyderatissimus ex Hispania in Germaniam reditus*. Antwerpen, 1520 (репринт: Madrid, 1976). Sig. A3v.

²¹ Richardson J. *Imperium Romanum: Empire and the Language of Power* // *The Journal of Roman Studies*. 1991. Vol. 81. P. 1–9; Lintott A. *What was «Imperium Romanum»* // *Greece & Rome*. 2nd ser. 1981. Vol. 28. No. 1. P. 53–67; Koebner R. *Empire*. Cambridge, 1961. P. 1–17.

²² Headley J. *Habsburg World Empire and the Revival of Ghibellinism* // *Theories of Empire, 1450–1800*. P. 45–81.

судить, такие народы отличались от римлян, прежде всего, отсутствием в их социальной практике рационального начала.

Еще у греков, очевидно, под влиянием Аристотеля сложилось мнение о существовании так называемого естественного рабства, означавшего, как известно, состояние человека, производное от его неспособности совершать обдуманые, целенаправленные действия и, следовательно, обрекавшее его на принудительный труд в пользу свободных в своем выборе людей. Аристотель затруднялся в идентификации этого аномального человеческого состояния, но, как представляется, был близок к мысли о том, что оно оставалось характерным для варваров и было, что самое важное, практически необратимым. Несмотря на то, что римляне придерживались сходных взглядов, их правовая практика допускала отсутствовавшие в греческом варианте производные состояния.

Социальные возможности римской правовой культуры, допускавшие различные варианты инкорпорации инородных, главным образом, варварских элементов в состав «римского мира» усиливали отношение к ней как исключительной и обладающей универалистским предназначением. Латий не только считался тем самым местом, где, по образному выражению Вергилия, «дикие расы» некогда были объединены Сатурном. Образовавшаяся в результате этого человеческая раса – «единое сообщество людей и богов» была обречена на преуспевание. Очевидно, заложенный в самой идее вечного города концепт, обеспечивая ему особую консолидирующую такую расу функцию, подразумевал, что успехи процветающей в нем культуры потенциально должны разделять и другие народы. Отказ Термина, как известно, защищавшего пограничные сигнальные маяки, присутствовать на церемонии в честь основания Рима, должно быть, символизировал заведомо predetermined перспективы.

Изменяющееся за счет инкорпорации новых народов социальное тело римской государственности, сохраняя свою исходную самодостаточность, не только разрушало границы между «миром людей» и варваров, но и приобщило обновленную часть образующегося таким образом «круга земель» к идеям и принципам справедливого правления. По образному выражению Сенеки, только империя представляла собой единственное основание – своеобразную «цепь», способную скрепить в единое целое членов различных по своей исходной природе политических сообществ²³.

Христианская культура, составлявшая второй важнейший конструкт, формировавший представления сторонников универсализма, претендуя на преемственность с римской культурой в охвате «круга земель», иначе представляла себе источники и формы универсального знания, скрепляющие ее исходное единство, но весьма схожим образом понимала их социальную функцию. Независимо от приверженности к расставляемым акцентам, христианское сообщество осознавалось христианской мыслью не только как своеобразное мистическое тело, пребывающее в умиротворенном гармонизированном состоянии, но и как определенное устройство, в котором мирское начало, так или иначе, сосуществует с духовным в «республике верующих»²⁴.

Гармония и внутренняя целостность такого сообщества обеспечивались единством христианской мудрости, источники которой неизменно определялись откровением. Его единственными хранителями и толкователями считались преемники апостола Петра, и в этом смысле только папство по определению располагало реальными средствами и орудием для управления всей ойкуменой. Распространяющаяся до последних пределов мира «республика верующих» преумножала, прежде всего, авторитет папства, а не светских государей, обращая неверующих и сокрушая непримиримых врагов христианства, организовывала жизнь на новых

²³ Koebner R. Empire... P. 10–17.

²⁴ Perry D. «Catholicum Opus Imperiale Regiminis Mundi». An Early Sixteenth Century Restatement of Empire // History of Political Thought. 1981. Vol. 2. No. 2. P. 227–252.

территориях в соответствии с нормами, прежде всего, церковного, а только потом светского права.

Казалось бы, в отличие от римской традиции, рассматривавшей единство духовного и материального начал в качестве основы человеческого общежития, христианство предпочитало их субординацию. При этом, неизбежно подчиняя светскую власть духовной, христианская «метафизика государства» все-таки допускала известную двусмысленность в понимании разделяющих обе власти границ.

Уже сам факт сосуществования двух форм властей – их в той или иной степени признаваемый дуализм мог означать различные, а по сути, противоположные последствия для образующих христианскую ойкумену сообществ. Для церкви с ее аксиомой о превосходстве духовного начала над мирским он лишь усиливал концепты папской теократии. При этом светские государи, включая самого императора, могли претендовать на обратное, используя дуализм властей для укрепления собственных позиций.

В подавляющем большинстве определений само представление о «республике верующих» не совпадало с тем, что обычно понималось под церковью, как таковой. «Республика верующих», объединявшая в единое целое клир и мирян, оказывалась значительно шире самой церкви, и в этом смысле власть светских государей и, прежде всего, императора имела достаточные основания для того, чтобы, не оспаривая духовный авторитет папства, стремиться к реализации своей автономной, а затем и самодостаточной сущности.

Положение о неоспоримости вероучительного примата папства сосуществовало с интерпретациями, допускающими двойственность представлений о территориальных пределах его общего верховенства. В зависимости от того, ограничивалось ли единство двух властей верховных понтификов границами Папского государства или же распространялось на территорию всей ойкумены, сокращались или расширялись реальные размеры папской теократии и, как следствие, определялись иерархия и компетенции всех прочих властей.

Практическое господство папства над сферой мирского, как известно, определялось доктринальным подчинением философии теологии. Лежавшее в основе представлений об иерархическом единстве христианской мудрости, оно, тем не менее, строилось на весьма тонком и на практике почти неразличимом видении двух различных состояний близости с основным познавательным идеалом. Философия, как известно, развиваясь, возвышалась до рассмотрения Бога, а теология, осваивая ее знания, непосредственно касалась наивысшего. Возникающее при этом ощущение самодостаточного характера философских знаний и опыта без последующих теологических обобщений могло вполне не подразумевать обратного. Потенциально возможный, а, в конечном счете, неизбежный разрыв единства христианской мудрости предопределял последующее разрушение иерархического строения «республики верующих».

Подобные противоречия, заложенные в представлениях о границах светской и духовной власти, с одной стороны, способствовали постепенной девальвации христианского учения о государстве с его трехуровневой системой властных отношений. С другой – на фоне сближения имперского и монархического дискурсов определяли закономерную концептуализацию идеи светского государства во всех ее мыслимых вариантах: универсалистском, национальном и, наконец, в интересующем нас – композитарном.

* * *

На исходе Средневековья представления об имперской власти по-прежнему ограничивались характером и объемом ее верховной юрисдикции. Используемые для этих целей определения и оценки, по большей части, восходили к наследию глоссаторов XI–XII века и, оставаясь явлением достаточно поздним, были лишены последовательной систематизации.

Исходными в определении объема имперской юрисдикции, как правило, считались две фразы Ульпиана (Dig. 1.IV.1; Dig. 1.III.31), обраставшие в последующих комментариях многочисленными смысловыми интерполяциями и уточнениями. Одна из них: «то, что решил принцепс, имеет силу закона», характеризуя роль императора в созидании потенциально возможной системы права, вызывала ассоциации с более поздним пониманием фундаментальной власти (сначала «imperium», а затем «auctoritas»). Другая: «принцепс свободен от соблюдения законов», конкретизируя его положение в уже действующей системе законодательства, увязывалась с обычно парным и в позднейших комментариях менее значительным по компетенциям определением «potestas».

Отгалкиваясь от подобных ассоциаций средневековые глоссаторы (Плацентин и в особенности Аккурсий) с самого начала модифицируют свойственные римскому праву представления о верховной власти императора²⁵. Продолжая разделять характерное для римских юристов мнение о делегированной природе имперских полномочий, они минимизируют возможные условия их отзыва до чрезвычайных. Соглашаясь с римской идеей превосходства имперского суверенитета над властью территориальных государей, они, тем не менее, проявляют завидный интерес к ограничивающим его моделям. Наконец, не возражая против сакрализирующих имперскую власть концептов, они не без влияния теории двух мечей ограничивают природу светской власти вторичными по отношению к духовной признаками²⁶.

Модификация классических римских представлений о верховенстве императорской власти, представленная глоссаторами, на деле оборачивалась ее более или менее последовательной лимитацией. При этом соседствовавшая с глоссаторами школа канонического права, инкорпорируя взгляды римских юристов в рамки церковного учения о государстве, напротив, активно способствовала расширению представлений о верховенстве папства в духовных и светских вопросах. Оставаясь на протяжении XIII-XIV веков практически автономной сферой, каноническое право активно использовало наследие глоссаторов, особенно в тех случаях, когда духовная власть последовательно противопоставлялась светским авторитетам. И в этом смысле вплоть до начала XIV века теория папского верховенства по своим интеллектуальным ресурсам во многом превосходила своего основного контрагента²⁷. Затем не без влияния известных политических процессов диалог между легистами и канонистами приобрел не только конструктивный оттенок, но и взаимообогащающий характер. Куда более разнообразные формулы и определения, используемые для характеристики всеобщего верховенства пап, стали активно осваиваться и для демонстрации соответствующих компетенций императорской власти²⁸.

Начало разработки идей папского верховенства в каноническом праве было связано с поиском емких по смыслу, известных глоссаторам, но не используемых ими понятий. Очевидно, именно этим обстоятельством можно объяснить появление впоследствии широко известной триады определений «plenitudo potestatis» – «plena potestas»²⁹ – «libera potestas». Первый элемент триады означал полноту власти римского папы в церковных вопросах, второй, чисто технически отличаясь от первого, мыслился как «полная власть», но с оттенком – власть делегированная. Наконец, третий элемент, оставаясь производным от второго, означал «власть

²⁵ Tierney B. «The Prince is not Bound by the Laws»: Accursius and the Origins of the Modern State // Comparative Studies in Society and History. 1963. Vol. 5. P. 378–400.

²⁶ Gilmore M. Argument from Roman Law in Political Thought, 1200–1600. Cambridge (Mass.), 1941. P. 34–56.

²⁷ Tierney B. The Continuity of Papal Political Thought in the 13th Century // Medieval Studies. 1963. Vol. 27. P. 227–248.

²⁸ Muldoon J. «Extra ecclesiam non est imperium». Canonists and the Legitimacy of Secular Power // Studia Gratiana. 1966. Vol. 9. P. 551–580.

²⁹ В некоторых случаях использовался синоним «plena auctoritas». Так, например, Ординарная глосса Иоанна Тевтоника (ум. 1216) на Дикреты Грациана содержала специальный раздел «Plena auctoritate» (Pennington K. Pope and Bishops: A Study of Papal Monarchy of 12th & 13th Centuries. Pennsylvania University Press, 1984. P. 59).

неограниченную», т. е. состояние, наступавшее, очевидно, в ходе реализации делегированного властного мандата.

Понятие «*plenitudo potestatis*» уходило своими корнями в богословскую полемику раннего Средневековья, но со временем, утратив известную актуальность, вышло из оборота и оставалось невостребованным вплоть до расцвета канонического права в начале XII века. Первоначально его использование не ограничивалось определениями папского авторитета и распространялось на характеристику особого состояния архиепископа, который после получения папского палия обретал «полноту» своего должностного положения (*plenitudo pontificalis officii*). Начиная с конца XV века, исходная двойственность этого определения будет активно эксплуатироваться в полемике между императорами и территориальными государями³⁰.

Определение «*plena potestas*» было заимствовано из римского публичного права, где под ним разумелась определенная форма делегированных полномочий, которыми наделялись лица или группа лиц, представляющих интересы клиента в тех или иных общественно значимых ситуациях. «*Libera potestas*» применялся для обозначения особых полномочий прокураторов и имперских наместников и, подобно, «*plena potestas*» характеризовал положение, при котором «избранник» не связывался в своих действиях определенными полномочиями по каждому конкретному вопросу³¹.

Используемые в совокупности, эти определения обозначали различные аспекты папского верховенства, но только термин «*plenitudo potestatis*» применялся для характеристики папской власти в целом. Первые попытки более или менее исчерпывающего объяснения значения этого термина были связаны с сопоставлением властного авторитета пап и епископов, причем в той мере и степени, в какой в позднейших версиях выстраивались схемы противопоставления императорских и королевских компетенций. Власть папы по определению являлась неограниченной и распространялась внутри границ вселенской церкви в то время, как власть епископов по умолчанию была ограничена территорией диоцеза. В таких сопоставлениях канонисты признавали любое решение пап обязательным не только для всех стоящих ниже его иерархов, но и самой церкви в целом. Ответственность за такие решения лежала исключительно на совести верховных понтификов, при этом ответственность епископов оставалась неизменно субсидиарной. В отличие от епископов папа олицетворял собой критерий справедливости, оставаясь несменяемыми судьей всех и вся (*iudex ordinaries omnium*), его возвышали до уровня «живого права» (*lex animata*), называя верховным законодателем, сохраняющим все мыслимые законы у себя в груди, возможно, в сердце или подле него (*omne ius habet in pectore suo*)³².

Дальнейшее усовершенствование смысловых оттенков, характеризовавших «*plenitudo potestatis*» римских пап, было связано с именем Генриха Созо, который значительно расширил представления о их верховной юрисдикции, предложив к использованию формулу «*suppletio defectum*»³³, обозначающую дополнительную компетенцию по исправлению несовершенных законов и последствий, связанных с их неправомерным использованием³⁴. Содержание этой формулы во многом зависело от характерного для канонического права разграничения двух форм власти – абсолютной и упорядочивающей. *Potestas ordinata* наделяла пап способностью законотворчества в сфере позитивного права, а *potestas absoluta* – исключительными полномочиями в корректировке действующего законодательства. Позднее юристы начнут использовать оба понятия для обозначения известного состояния, когда созидательное право верховный зако-

³⁰ McCready W. Papal Plenitudo Potestatis and the Source of Temporal Power in Late Medieval Political Thought // *Speculum*. 1973. Vol. 48. P. 654–674.

³¹ Pennington K. Pope and Bishops... P. 60–63.

³² Watt J. The Theory of Papal Monarchy in the 13th Century. Contribution of Canonists. Fordham University Press, 1965. P. 75–106.

³³ Oakley F. The Western Church in Late Middle Ages. Cornell University Press, 1979. P. 143–145.

³⁴ Watt J. The Theory of Papal Monarchy... P. 161–187.

нодатель в момент его последующего применения оказывается в позиции «над» результатом его деятельности³⁵.

Очевидная тенденция к своеобразному наращиванию определений папского верховенства далеко не всегда отражала действительность и соответствовала реальным политическим процессам. Прямое вмешательство пап во внутренние дела светских государей носило по большей части эпизодический характер, оставаясь конкретным ситуативно обусловленным явлением. В свою очередь критика Константинова дара с ее выраженной направленностью на сокращение территориальных пределов папской юрисдикции и растущими опасениями по поводу незаконности переданных папскому престолу земель формировала основу для на деле ограничивающих полноту верховной власти моделей. При таком стечении обстоятельств окончательная материализация идеи о всеобщем верховенстве римских понтификов могла состояться исключительно в пределах Папского государства.

* * *

Представления о верховной власти территориальных государей во многом зависели от отношения писавших на эту тему юристов к природе сначала – папского, а затем и имперского верховенства. В том случае, когда универсалистские претензии средневековых императоров полностью отрицались, вся перспектива возможных построений ограничивалась формулой «*rex qui superiorem non recognoscit*», очевидно, восходившей к декреталии Иннокентия III «*Per Venerabilem*». Когда же права на «всемирное» господство императоров не оспаривались, аналогичную функцию выполняла формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*», впервые использованная Ацо³⁶.

Несмотря на безусловное различие в исходных тезисах, лежавшие в основе обеих формул доказательства, в конечном счете, оправдывали характерную для средневековой Западной Европы территориальную дисперсию властных отношений³⁷, открывая перспективы для последующих модификаций теории властного суверенитета. По мере ослабления империи, уже в конфессиональную эпоху конструктивная сторона каждой из формул, заметно усиливаясь, давала почву для появления культурно-исторических вариантов, характеризовавших их «национальную» идентификацию. Формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*» составила основу для теорий верховенства в землях, которые никогда не входили в состав имперских владений. Другая же – «*rex qui superiorem non recognoscit*» – использовалась, как правило, государями, которые когда-либо реально соприкасались с территориальной юрисдикцией германских императоров. Очевидно, что только политический опыт Франции и итальянских городов-республик³⁸ мог претендовать в такой перспективе на исключительную связь с последствиями применения обеих формул.

Позиция Иннокентия III в отношении территориальной верховной власти была еще далека от более жестких и открытых для универсального использования формулировок ее последующих комментаторов, расширявших содержавшиеся в папской декреталии положения о политической автономии французской монархии до ее суверенного, приравненного к имперскому статусу³⁹. Уже Ольдрад из Понте, отстаивая претензии Роберта Мудрого на верховенство

³⁵ *Oakley F.* Omnipotence, Covenant and Order: An Excursion in History of Political Thought from Abelard to Leibniz. Cornell University Press, 1984. P. 93–118.

³⁶ *Post G.* Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State. 1100–1322. Princeton, 1964. P. 453–493.

³⁷ Более подробно о явлениях дисперсии: *Хачатурян Н. А.* Полицентризм и структуры в политической жизни средневекового общества // Власть и общество в Западной Европе в Средние века / отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008. С. 8–13.

³⁸ *Calasso F.* Origini italiane della formola «*rex in regno suo est imperator*» // *Revista di storia del diritto italiano*. 1930. Vol. 3. P. 213–259.

³⁹ *Pennington K.* Pope Innocent III's View on Church and State: A Gloss to *Per Venerabilem* // *Law, Church and Society: Essays*

в подвластных ему территориях, использовал формулу «*rex qui superiorem non recognoscit*» для полного отрицания универсалистского характера имперской власти⁴⁰. Согласно его утверждениям, сицилийское королевство всегда располагалось за пределами империи и, являясь фьефом римских пап, подразумевало иной тип политической субординации. При этом такой тип вассалитета не отражался на светских прерогативах ни предшественников, ни преемников Роберта Мудрого, поскольку их обязательства перед папством носили исключительно духовный характер и предполагали только вероучительный примат римского престола над сицилийским.

Признавая такой тип субординации в качестве альтернативы внутриимперской иерархии властей, Ольдрад и его последователи подвергали сомнению, казалось бы, непреложный факт о соподчиненности «круга земель» имперскому владычеству. Оказывалось, что идея «всемирной» державы могла оспариваться не только куда более перспективными, хотя и небеспорными, формами вассалитета, не умалявшими суверенного статуса территориальных государей, но и самим фактом существования таких политических объединений.

Очевидная уязвимость определений, подчеркивавших духовный характер вассалитета сицилийских монархов по отношению к папству, интенсифицировала поиск возможных аргументов, доказывающих изначально иной, отличный от отдающего приоритет имперскому порядку вещей. Оказывается, что с точки зрения естественного права – весьма популярного и чтимого среди юристов основания – территориальные государства (собственно королевства или царства) предшествовали образованиям имперского типа⁴¹. В этой связи терялся исходный смысл универсалистских претензий римского народа, а самое главное – лишались легитимных оснований все декларируемые с ним формы преемства.

Поскольку естественный порядок ограничивал начальные формы политических объединений исключительно территориальными королевствами, империя могла возникнуть лишь в результате завоевания и насильственного объединения некогда независимых государств. Такая форма «неестественного» фактического господства противопоставлялась покоящейся на легитимных началах власти территориальных государей. Римский император, таким образом, лишался *de jure* оснований на мировое господство, а римский народ оказывался неспособным трансформировать производное от этого права достоинство своим государям⁴². Любая последующая «трансляция» имперской идеи по умолчанию превращалась в безосновательную и нелегитимную.

Для той части юристов, которые в той или иной степени признавали универсалистский характер имперской власти – другая формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*» означала, что любой монарх, подобно императору, имеет все необходимые основания для верховенства в подвластных ему территориях. При этом весь известный к тому времени мир состоял из свободных королевств, среди которых империя, являя собой пример лишь наиболее крупного по своим размерам территориального образования, была лишена каких бы то ни было первенствующих позиций, а ее доминирование воспринималось в качестве временного, случайного и, безусловно, преодолеваемого состояния⁴³.

in Honor of Stephen Kuttner / ed. by K. Pennington, C. Somerville. Philadelphia, 1977. P. 49–67.

⁴⁰ *Oldradus da Ponte. Consilia*. Lyon, 1550. Consilium No. 69. Sig. 21r-S26v.

⁴¹ «*Longe ante imperium et romanorum genus ex antique, scilicet iure gentium quod cum ipso humano genere proditum est, fuerunt regna cognita, condita*». Фраза принадлежит Марину из Караманико (ум. 1288). Цит по: *Calasso F. I glossatori e la teoria della sovranita*. Milano, 1957. P. 196.

⁴² «*Videndum est ergo qualiter [imperator] acquisivit dominium. Et ipse allegat quod habet causam a populo qui ei concessit, et in eum transtulit omnem imperii potestatem... Respondetur sic quod populus non potuit plus iuris conferre in eum quam habuit... sed populus non habuit de jure dominium super alias nationes, ergo nec ipse*» (*Oldradus da Ponte. Consilia. Consilium No. 69. Sig. 24v*).

⁴³ Наиболее ранний вариант рассуждений на эту тему принадлежит Андреасу из Исернии (ум. 1316): «*Cum causa rex alius poterit in regno suo quod imperator potest in terra imperii... primi domini fuerunt reges, ut dicit Sallustius... pedditae ergo sunt provinciae (quae regem habent) formae pristinae habendi reges, quod facile fit... Liberi reges tantum habent in regnis suis quantum*

В любом случае разделявшие эту позицию юристы отдавали должное потенциально возможным переменам: «политическая» картина мира могла изменяться как в сторону появления новых территориальных государств, так и в сторону образования неизвестных ранее государственных объединений. Наличие «старой» империи среди такого рода образований не исключало возникновения иной территориальной доминанты и связанной с нею обновленной имперской идентичности. Подобного рода идентичности во многом определяли размежевание политических сил на исходе Средневековья.

* * *

Как известно, после появления знаменитого Ограничительного акта 1533 года в политическом лексиконе англичан прочно укоренились представления, идентифицирующие тюдоровскую монархию с империей, согласно формуле «rex in regno suo est imperator regni sui». Во главе такой монархии – своеобразного «политического тела», состоявшего из людей различного положения и достоинства, стоял второй после самого Господа владыка, облаченный имперским титулом и короной государь⁴⁴. Акт не только содержал характеризующие имперское сознание Тюдоров элементы, но и определял потенциально возможные ассоциации. Речь идет о том, что на фоне отсутствующих упоминаний о посреднической роли церкви могли возникать известные параллели с римской практикой государственного церковного строительства, предполагавшей особую форму подчинения духовной сферы светской власти⁴⁵. Отождествление монархии с «политическим телом», способным не менять своей конфигурации во времени и пространстве, могло вызывать закономерные ассоциации с представлениями о «мистическом» теле монархии, оказывавшими влияние на ее более последовательную сакрализацию. Уровень обобщения, допускавший такие взаимосвязанные отождествления, не только раскрывал, но и превращал параллель с политико-правовыми атрибутами средневековой корпорации в одну из наиболее очевидных⁴⁶.

Среди всех мыслимых ассоциаций возможная связь с корпоративной теорией была наиболее принципиальной, поскольку скрытые в ней возможности облегчали восприятие постоянно меняющих свою направленность процессов самоорганизации средневекового общества.⁴⁷ Первоначально корпорация (*universitas*) отождествлялась с формирующими подобную общность людьми⁴⁸. Затем, по мере усложнения исходных представлений, складывались предпосылки для постепенного разграничения входящих в подобные объединения физических лиц и собственно самой формы корпоративной организации. Последняя, очевидно, приобретая черты универсальной формы самоорганизации общества, осмысливается как обобщающая этот опыт самодостаточная абстракция. Постигаемая исключительно посредством человеческого разума, она выводится за рамки бренного существования в сферу категорий естественного

imperator in imperio» (*Andreas de Isernia*. In usus feodorum commentaria. Lyon, 1579. Sig. 286r).

⁴⁴ «Where by divers sundrie old autentike histories and chronicles it is manifestly declared and expressed that this Realm of England is an Empire, and so hath ben accepted in the worlde, governed by oon supreme heede and King having dignitie and roiall estate of the Imperiall Crowne of the same, unto whom a Body politike, compacte of all sortes and degrees of people... ben bounded and owen to bere next to God a naturall and humble obedience» (An Acte that the Appeles in suche cases as have ben used to be pursuit to the See of Rome shall not be from hensforth had ne used but within this Realme (1533: 24Henry VIII, c.12) // Statutes of the Realm. London, 1817. Vol. III. P. 427).

⁴⁵ Более подробно об этом см.: *Ullmann W.* This Realm of England is an Empire // *Journal of Ecclesiastical History*. 1979. Vol. 30. No. 2. P. 175–203.

⁴⁶ *Kantorowicz E.* The Kings two bodies: a study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957; *Canning J.* Law Sovereignty and Corporation Theory // *Cambridge History of Medieval Political Thought. 350–1450*. Cambridge, 1987. P. 473–477.

⁴⁷ *Хачатурян Н. А.* Средневековый корпоративизм и процессы самоорганизации в обществе. Взгляд историка-медиевиста на проблему коллективного субъекта // *Власть и общество в Западной Европе в Средние века*. С. 31–46.

⁴⁸ «universitas nil aliud est nisi hominess qui ibi sunt» (*Accursius*. Glossa Ordinaria // *Corpus Juris Civilis*. Venice, 1497. Sig. 63v (Ad Dig. 3.4.7)).

права и наделяется правосубъектностью. Как юридическое лицо корпорация затем повторно материализуется в коллективном лице составляющих ее членов, но при этом остается независимой от них, т. е. самоуправляемой организацией⁴⁹.

Уже в трудах Бартоло⁵⁰, а затем и Бальдуса итальянские города-республики начинают отождествляться с корпорациями, регулирующими свою внутреннюю жизнь при помощи обычного и статутного права, источники которого определяются коллективным согласием живущих на их территории народов. При этом покоящиеся на всеобщем волеизъявлении обычаи и статуты не требуют иных высочайших санкций⁵¹. Функционирующая в таких городах-корпорациях избираемая или назначаемая народом верховная власть приобретает самодостаточный, и фактически независимый от внешних авторитетов характер⁵².

Влияние корпоративной теории не ограничивалось представлениями о формах самоорганизации итальянских городских республик. Оно подпитывало куда более общие рассуждения итальянских и французских юристов о генезисе и природе территориальных государственных объединений⁵³. Солидаризирующим позицию этих юристов моментами являлись, с одной стороны, признание «очевидной реальности» универсалистского характера верховной власти императора и осознание «очевидной условности» ее территориальных пределов – с другой. Меняющиеся размеры и границы имперских владений (от римлян – к грекам и от греков – к германцам) способствовали появлению *de facto* самостоятельных государств. Такие государства могли признавать верховную юрисдикцию «римских» императоров, и в этом случае баланс сил и авторитетов сохранялся. Когда образовавшиеся государства оспаривали верховенство имперской власти, она *de jure* сохраняя свои полномочия, уже *de facto* обретала конкурентов.

Такие конкурирующие с империей государства в силу сложившейся практики и обычаев могли избирать верховных правителей и превращались в фактически самостоятельные политические образования, во многом напоминая самоуправляемые городские корпорации. Фактическая самостоятельность и правовая самодостаточность подобных корпораций подразумевали физически отсутствовавшего среди ее членов «римского» императора. В этом смысле такая корпорация, затем городская коммуна и, наконец, территориальное государство, компенсируя недостающее звено в иерархическом единстве, либо как бы «замещали» принцепса (*vice principis*), либо, возлагая на себя его полномочия, становились таковым (*sibi princeps*): грань между *de facto*

⁴⁹ Об этом подробнее: *Canning J.* The Corporation in the Political Thought of the Italian Jurists of the Thirteenth and Fourteenth Centuries // *History of Political Thought*. 1980. Vol. I. P. 15–24; *Wilks M.* The Problem of Sovereignty in the Late Middle Ages. Cambridge, 1963. P. 24.

⁵⁰ *Wolf C.* Bartolus of Sassoferrato: His Position in the History of Medieval Political Thought. Cambridge, 1913. P. 156–159.

⁵¹ Формула «*civitas quae superiorem non recognoscit*», определявшая суверенный город-республику, а затем и любое территориальное государство как «*sibi princeps*» или «*vice principis*» (*Baldus de Ubaldis.* *Consilia*. I–V. Brescia, 1490–1491 (репринт: Roma, 1894). II. No. 49).

⁵² *Baldus de Ubaldis.* *Lectura super prima et secunda parte digesti veteris*. Lyon, 1498 (репринт: Turin, 1987). Ad Dig. I.1.9. Sig. 9r.

⁵³ *Meijers E.* *Etudes d'histoire du droit*. 4 vols. Leiden, 1956–1973. Vol. III. P. 156–198.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.